

Эти воспоминания выдающегося русского циркового артиста, клоуна-дрессировщика Анатолия Леонидовича Дурова (1864—1916) появились девяносто лет назад в петербургском «Историческом вестнике». Мы публикуем их сокращенный вариант. А. Л. Дуров и его брат Владимир Леонидович (1863—1934) — родоначальники знаменитой династии артистов.

Автобиография клоуна — это что-то необычайное, сомнительное. Поэтому с первых же строк приходится просить у читателя «благодарности», той самой благосклонности, которой живет на цирковой арене клоун и ради которой он преодолевает голозолонные кунштюки.

Я родился в Москве в 1864 году. Родителей своих едва помню. Отец мой служил в полиции, он был приставом... Вся отцовская линия, со включением дедов и бабушек, отличалась склонностями к оригинальности. А одна из нашего рода, моя бабушка Надежда Андреевна Дурова, даже известна в литературе под именем кавалерист-девицы Александровской-Дуровой. Разве ее похождения в военном мундире не особенность, присущая только оригинальным натурам?

Лишившись родителей, я был взят моим крестным на воспитание. Его трогательные заботы обо мне до сих пор занимают и, вероятно, всегда будут занимать самое почетное место в моих воспоминаниях. Быть может, потому, что Николай Захарович Захаров не имел своих детей, я был предметом его нежных попечений и безграничной любви, в которой, впрочем, не было недостатка и со стороны его жены. Татьяны Даниловны.

Это был очень умный и образованный человек... Свободное от юридических занятий время Николай Захарович посвящал литературе и написал несколько оригинальных пьес, которые имели успех на сцене московского Малого театра. Благодаря этому он был дружен почти со всеми выдающимися артистами того времени, которые часто посещали его и устраивали импровизированные вокально-литературные вечера. Все это очень мне нравилось и производило на меня впечатление, но к театру в котором я бывал вместе с крестным много раз, у меня душа не лежала. Неизмеримо большее внимание я уделял цирковой арене, которая казалась кульминационной точкой веселости.

Когда мне исполнилось десять лет, Захаров отдал меня в первый кадетский корпус, из которого через два года меня исключили за неспособность к наукам и склонность к акробатству.

Директор корпуса призвал крестного и прямо ему сказал:

— Ваш родственник нетерпим в стенах нашего заведения.

— Почему?

— Потому, что он весь свой класс превратил в клоунов и гимнастов, да и в других классах стали ему подражать.

— Подвергайте его наказанию.

— Не помогает. По неделям в карцере высиживал и все-таки не исправлялся. Он и в карцере все время норовит на голове простоять... Всех собак и кошек из нашего дома разогнал благодаря дрессировке.

Никакие просьбы крестного не подействовали, и я был взят из корпуса.

Из корпуса накануне каждого праздника я приезжал домой и непременно проводил вечер в цирке. Я покупал билеты на самые дешевые последние места и с большим наслаждением наблюдал за работой циркистов, которые давали мне богатый материал на целую неделю. Тотчас же по возвращении в корпус я рассказывал товарищам все выдающееся из виденного мною в цирке и тут же являлся посылным подражателем.

По выходе моем из корпуса меня определили в частный пансион, помещавшийся в одном из переулков близ Трубы (название одной из центральных местностей Москвы), и наняли репетитора, на обязанности которого лежало как можно чаще быть в моем обществе и удерживать меня от шалостей. Однако этот репетитор, как и многие другие впоследствии, отказался, несмотря на хорошее вознаграждение, руководить мною. Мое непослушание и несвоевременные гимнастические упражнения выводили из терпения этих «вольнонаемных дядек»...

Живя дома, я занялся дрессировкой дворовых собак, из которых особенно понятлива и галантлива была кудлатая собачонка Марья. Она ежедневно утром провожала меня до пансиона и ровно к трем часам пополудни приходила за мной. Возбуждая удивление товарищей и обращая внимание прохожих, она носила туда и обратно мой ранец.

Так продолжалось два года. Хотя пансион я посещал исправно, однако в науках подвигался слитком медленно. Гораздо большие успехи я делал в любимом мною занятии. К пятнадцатому году благодаря неустанным упражнениям

у меня выработались легкость и проворство, которыми я мог бы соперничать с завзятыми гимнастами.

В это время моя страсть к цирку была особенно сильна. Один из многочисленных сараев, находившихся при нашем доме, я превратил в школу, устроил трапеции, завел известного типа стулья, протянул канат, сделал кодули... На деньги, щедро рукою даваемые мне крестным на лакомства, я нанял себе в учителя гимнаста Анжело Бриаторо, служившего в цирке Гине. Он славился прыжками и носил поэтому специальную кличку прыгуна. Я ему плагиал по рублю за урок.

Бриаторо являлся ко мне в сарай с большим хлыстом, который часто прогуливался по моему телу. Я, разумеется, не протестовал, а, напротив, упрашивал его сам обращаться поостроже.

— Ты настоящий ученик! — говорил он мне ломаным русским языком. — Ты хорошо выносишь мой кнут.

Мое учение происходило, разумеется, втихомолку. Но однажды как-то нечаянно во время урока зашел в сарай Захаров и с такой злобой накинулся на Бриаторо, что тот бросился бежать...

раздражительностью, которая нагоняла на меня страх и заставляла быть точным исполнителем его указаний и приказаний.

Летом, в какой-то торжественный день, на Девичьем поле должно было состояться народное гулянье. На открытую эстраду с воздвигнутой трапецией Отто по обыкновению взялся доставить труппу акробатов, которые в продолжение целого дня, без антрактов, обязаны были давать свои представления.

Для этой цели Отто нанял каких-то двух бродячих комедиантов и сделал предложение мне вступить в состав его «ансамбля». Он пообещал мне за это два рубля деньгами, даровую водку и закуски.

В день моего первого публичного дебюта я был в очень большом волнении. Накануне почти всю ночь не спал. Все время мечтал об успехе, аплодисментах и придумывал различные комические антракты, которые, однако, в исполнение привести не удалось.

Рано утром, уходя из дома, я сказал, что иду в церковь, а сам между тем опрометью бросился на Девичье поле, где уже поджидал меня импресарио.

Я не трогался с места. Ко мне на ручку явился Отто.

— Он мой артист, — сказал балаганщик. — Он по условию должен у меня играть весь день...

— Да, да, — добавил я, — я обязан работать до конца.

— Без разговоров! Долой с себя этот позорный костюм и марш домой! В противном же случае я тебя вместе с этим немцем сдам полиции...

— Что у вас за странные шутки? — заискивающе проговорил Отто.

— Это не шутки! — ответил Захаров. — Это голос отца, сын которого обещает быть беспутным... Э! Впрочем, что с вами говорить; вы не поймайте меня, господин уличный комедиант...

Я принужден был во избежание скандала переодеться и пойти за крестным.

Меня подвергли строгой жизни...

Когда мне исполнилось шестнадцать лет, я стал просить крестного разрешить мне стать циркистом. Он наотрез отказал мне в просьбе.

— Но мне больше цирка ничего не нравится...

— Вздор! Ты приневоливаешь самого себя любить грязную клоаку, прикрытую блестящей мишурой... Жизнь клоуна бесполезна, а тебе надлежит быть сыном своей родины, быть ее деятелем и принести ей посильную пользу... Клоун же тунеядец, живущий тем, что умеет казаться более глупым, чем он есть на самом деле...

Я снова притих, хотя не разочаровался в цирке, а тем более не переставал его посещать. Моим постоянным спутником был давнишний мой приятель Китаев, который тоже во дни юности увлекался клоунской деятельностью, хотя никогда не выказывал настоящих поползновений сделаться циркистом. Я с ним бывал в самых дешевых, тридцатикопеечных местах.

Мне в цирке было все приятно. Даже газ и навоз, запахом которого обыкновенно напоен цирковой воздух, были мне милы и симпатичны. Скажу более, он просто действовал на меня одуряюще: вот как сильно была любовь к цирку.

Во время мною описываемое, в Москве гостил цирк Саламонского, у которого служил известный клоун Танти, считавшийся любимцем публики вообще, а мне в частности казавшийся идеалом. Мое обожание его таланта было до такой степени сильно, что я говаривал Китаеву:

— Господи! Уж не только клоуном быть мне бы хотелось, а хоть ковры растилать для клоуна.

Несмотря на неудовольствие крестного и не обращая внимания на голос рассудка не обижать моего воспитателя, я не мог побороть в себе страсть и осенью 1880 года решился сбежать в Тверь, куда пригласил меня ярмарочный балаганщик Вальшток, обещавший за две недели труда дать мне двадцать рублей. Разумеется, соблазнил меня не гонорар — крестный был щедр, и в деньгах я никогда не нуждался, — а соблазнило сознание, что меня признают артистом.

Однако бежать совершенно тихонько я не посмел, потому что отлично знал, что меня скоро спохватятся, найдут, и моя затея пропадет даром. Здравый расчет заставлял посвятить кого-нибудь из домашних в мою затею. Но кого? Думал я, думал, и не нашел лучшего сообщника, как только Татьяну Даниловну, любившую и жалевшую меня, как пропащего сына.

— Что ты, что ты! — воскликнула она, узнав мое смелое намерение. — Что Николай Захарович скажет!..

— Вы уговорите потом его.

— И не уговоришь. Он после этого, несмотря на всю свою доброту, и зная-то тебя не захочет... Не делай этого, нехорошо... Не огорчай отца, он и так за тебя болеет душой и мучается...

— Напрасно! Я буду отличным гимнастом... Превосходная карьера, а главное — по сердцу...

— Еще добро бы где-нибудь здесь, в цирке, а то ведь понадешь в балаган...

— В театр.

— Нет, в балаган... На ярмарках бываю только балаганом...

— Театры!

Я не ради спора уверял, что еду в театр, а не в балаган, а потому, что сам был крепко уверен в своих словах.

После долгих слез и уверений я упрямил ее не говорить Николаю Захаровичу о моем путешествии в Тверь и сказав ему, что я по собственному желанию пошел у бабушки.

На дорогу Татьяна Даниловна дала мне пять рублей деньгами, шелковое одеяло и подушку. Бывшую у меня дорожную сумочку я наполнил письмами моих сестер, как самыми дорогими для меня предметами, и тронулся в путь...

КЛОУН

Анатолий ДУРОВ

Не прошло это бесследно и для меня. Крестный придумал мне наказание, которое действительно было для меня тяжело и неприятно. Он отправил меня гостить на неделю во вдовий дом к проживавшей там пансионеркой моей бабушке Праксоды Семеновны Соболевой. Скука была там страшная, и никак нельзя было оттуда уйти. Здоровенные церберы, в виде сторожей и швейцаров, ревниво охраняли вход. В особенности замучило меня меню водоего дома, которое почти бесценно состояло из киселя или картофеля на второе блюдо.

Вторым моим учителем был балаганщик Отто, с которым я познакомился на Девичьем поле. Он брал с меня наполовину дешевле Бриаторо и являлся ко мне без хлыста, к которому, однако, я так привык, что без него не мог работать с воодушевлением. На собственные деньги я купил хлыст и подарил его своему учителю с просьбой не жалеть меня.

Это может быть красноречивым свидетельством степени моей страсти к цирку. Мне хотелось во что бы то ни стало сделаться выдающимся гимнастом, клоуном же быть я в то время и не думал.

Мои уроки с Отто происходили в том же злосчастном сарайчике, в котором крестный поймал меня с Бриаторо. Это были упражнения на трапециях, кувырканью же и сальто-мортале я учился на вольном воздухе, в саду. К этому принуждали меня милостивые барышни, жившие в соседнем доме и наблюдавшие за моими работами. Желая перед ними порисоваться, я не без гордости проделывал хитроумные скачки и различные «ки про куо», за которые они мне аплодировали и даже бисировали. Эти первые мои зрительницы своими неподдельными восторгами доставляли юному и непризнанному артисту невыразимое удовольствие, не забытое до сих пор. Я кокетничал с ними, как настоящий любимец публики, и с непринужденной грацией откланивался на их дружные рукоплескания. Хорошее было время!

В конце концов с Отто произошло то же, что и с Бриаторо. Захаров застал нас в саду за кувырканьем, схватил моего учителя за шиворот и ловко выбросил его на улицу. После этого неожиданного сальто-мортале и Отто перестал меня посещать. С неделю я погорезал, а потом отправился к нему извиняться за крутой нрав крестного отца.

— Он совсем не деликатный, — ответил мне Отто, говоривший по-русски плохо, но крайне наивно и смешно. — У меня была надета новая визитка, а он хватил прямо за воротник. Ведь мог оторвать его... Таких шуток я не понимаю...

— Он не шутил, — заметил я обиженному клоуну.

— Как не шутил? Непременно шутил. — Уверяю вас, не шутил.

— Так какое же имел он право бить меня серьезно? Ведь я бы мог сам немощно закияться и погрозить кулаком...

После этого предисловия я сговорился с ним относительно продолжения наших занятий. Мы условились работать у него.

Уроки шли хорошо. Моею понятливостью и перемчивостью он был доволен, я же в свою очередь был доволен его

По приказанию Отто я разделся и на голое тело напялил какой-то грязный, застарелый клоунский костюм, по светлостному фону которого были аляповато нарисованы уродливые рожи. Потом он подверг мою физиономию ужасной гримировке.

Я был в восторге и не мог налюбоваться на себя. Когда же наступило время представления, я со смелостью и апломбом старого комедианта ловко взобрался на трапецию и начал работать. Тысячная толпа народа почему-то гоготала, хотя в моих упражнениях смешного не было ничего, и аплодировала. Я с достоинством раскидывался по сторонам и без устали продолжал свои представления, по окончании которых, уступая место коллегам, скрывался на четвертьчасовой отдых в подполье под эстрадой.

— Ты хорошо и много работаешь, — поощрял меня время от времени Отто и предлагал водки. — Для укрепления мускулов прекрасно... Я всегда ею подкрепляюсь... пей, все артисты пьют...

Последняя аргументация на меня подействовала, и я было взялся за стакан с водкой, но, при всем своем желании, не мог к ней прикоснуться...

Прошло более полдня. Я все так же энергично и охотно ломался на трапециях, толпа все так же глупо смеялась и рукоплескала.

Окончив свой номер, я стал спускаться в подполье. Не успел я переступить его порога, как раздался знакомый голос:

— Анатолий!

Точно предчувствуя что-то нехорошее, я вздрогнул и обернулся. Передо мной стоял крестный отец с полицейским.

— Сейчас же долой с себя это тряпье! — произнес он требовательно и строго.

